

Приглашаем на работу профессиональных рекламных агентов. Тел.: 208-85-00, 208-98-36.

ПРИ ПЕРВОМ знакомстве Бродский может показаться самым непоэтическим из поэтов. Бродского трудно запоминать наизусть. Несовпадение ритмических единиц со смысловыми, синхронизированный ритм; enjambements — словно перешагивание через лужи. Паузы не там, где надо, паузы посреди фразы и даже между не отделимыми друг от друга частями предложения — прием Брехта — сообщают стиху ироническую рассудительность, интонацию разговора с папиросой: пауза нужна, чтобы затянуться.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн... Музыкальность стиха в том смысле, как ее принято понимать, у него отсутствует: это не музыка гармонического трезвучия классиков и романтиков, а скорее то, что называется новой музыкой. Его аллитерации изысканно-неблагозвучны, голос хрипит, слышна одышка.

Скрипи, мое перо, мой коток, мой посох. Не подгоняй сих строк: забуквовав в отбросах, эпоха на колесах нас не догонит, босых.

Бродского трудно декламировать. Невозможно ни громыхать его стихами с эстрады, ни напеть их "чужку девическому в завиточках волоска". Это не те строчки, от которых можно задохнуться от счастья. Хотя у него не так много верлибров, его ритм чрезвычайно сложен, стих рассчитан на искушенное ухо; все завоевания тоники освоены, можно сказать, еще в пленках; и так как крайности сходятся, стихотворение порой начинает выглядеть искусно зарифмованной прозой. Удивляешься выносливости его поэтического желудка, способного переваривать камни. Он питает какое-то почти извращенное пристрастие к длинным абстрактным существительным, к чудовищным шпилькам и прищепляющим причастиям. Нарочитые прозаизмы — как куски животного мяса:

Вещь, помещенной будучи, как в Аш-два-О, в пространство, презирая риск, пространство жаждет вытеснить...

Чудовищность творящегося в мозгу придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

В одном интервью он заметил, что проза — литература второго сорта; обыкновенный шовинизм поэта. На самом деле у него с прозой сложные отношения. Начатая Некрасовым прозаизация русского стиха доведена до немыслимого предела.

НИКТО еще не отбавлялся в стихах на такой мучительно-запутанный, чуть ли не в манере Фолкнера синтаксис. Есть такая многограничная новелла Гарсиа Маркеса, состоящая из одного предложения. У Бродского фраза может растянуться на целое стихотворение. Он не дает перевести дух:

Имяреку, тебе, — потому что не станет из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима, как по тем же делам, потому что и с камня сотрут, тек и в силу того, что и сверху, и камня помимо, чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса — на злогопово фене в отечестве белых головков, где на ощупь и слух наколбл ты свои полюся в мокром космосе злых корольков и выгильных сиповок; имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучшей из од на паданье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой...

Чтобы конструкция не рухнула, необходимы стальные опоры, железная арматура стиха. Высокоразвитая стиховая техника позволяет сладить с этими массами. Виртуозное владение ритмом, неожиданная, подчас эпатирующая рифмовка. Наконец, строфика.

Бродский восстановил в правах строфу, он применил, по большей части сам изобрел множество разнообразных строф. Строфика дисциплинирует крайне перегруженный стих, возвращает ему компактность; строфы претягивают стихотворение, как веревки — туго свернутый ковер. Мерность строф, строфическое деление превращает поэму в членистоногое — существо, поражающее своим биологическим совершенством. Барочный язык, смысловые завитушки, провоздкий синтаксис — все это превратилось бы в лабиринт, в густой непролазный лес, если бы не строфы — просеки, помогающие ориентироваться и продвигаться вперед.

ЭТА ИЗУМИТЕЛЬНАЯ техника, порой и не без примеси озорства, редко бывает самоцелью. Поэтическая техника — визуализация поэтического мышления: по-другому не скажешь то, что необходимо сказать. Такое мышление абстрагирует в себя великое множество сигналов извне. Со всех сторон раздаются трамвайные звонки языка, клаксоны культуры. Бродский живет в языке и культуре, как на улице.

Мы имеем дело с чрезвычайно сложным видением мира — каким только и мо-

жет быть зрение современного художника. До обалдения усложнившийся мир может быть освоен лишь средствами усложненного искусства. С точки зрения bon sens — обыкновенного здравого смысла — такой мир неотличим от хаоса. Кажется, что он управляет шизофреническим божеством; может, так оно и есть. Овладевший этим миром — сверхзадача поэта.

(В частном разговоре на вопрос, почему он не хочет съездить в Россию, он ответил: чтобы не добавлять к хаосу жизни еще один хаос.)

Поэтическое задание Бродского — это все та же извечная цель искусства: укрощение хаоса. Подлинный пафос его поэзии, столь стыдящейся всякой патетики.

Вот почему он не авангардист в собственном смысле слова. Авангард капитулирует перед хаосом.

инкогнито в народные кварталы, в вертепы языка. Как когда-то Пушкин в красной рубахе гулял среди поселян. "Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!"

Моп Dieu... какие сказки услышишь под Норинской?

Можно сказать и наоборот: время от времени этот благодать облекается в тогу патриция. Он только не чурается вульгаризмов. Его лексикон загажен или, если угодно, украшен — и в любом случае обогашен — блатаризмами. Можно было бы написать небольшое исследование на тему о заблатности как новой поэтической категории; о ёрничестве как методологии освоения абсурдного мира.

Черные пузыри языка — в углах рта у этого аристократа-беспризорника. С ними

Лит. газета. — 1996. — 22 мая. — С. 6. Борис ХАЗАНОВ

С точки зрения ворон

Заметки об Иосифе Бродском в канун его дня рождения

ВОЗРОДИВ увядшую в русской поэзии строфу, Бродский вернул жизнь и почти испутившему дух жанру — поэме. От классической поэмы она, однако, отличается тем, что в ней нет больше сюжета, — ничего вроде бы не происходит.

В "Кольбельной Трескового мыса" все, что должно было случиться, уже случилось.

Как бесцеленным женам гарема веселый Шах изменить может только с другим гаремом, я сменил империю. Этот шаг предиктован был тем, что несло горельем с четырех сторон — хоть живот крести; с точки зрения ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чужа ящцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот, с соленым вкусом этой воды во рту, я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч.

То, что всегда было привилегией прозы, в этом произведении — мы можем не колеблясь поместить его в ряд шедевров русской поэзии XX века — оказалось чуть ли не главным поэтическим качеством. Речь идет о таком восприятии мира, которое до сих пор считалось достоянием поэзии.

Нулевая точка отсчета поэмы — человек, неподвижно сидящий в темноте душевной южной ночи, человек среди вещей, сам похожий на вещь: на радиоприемник. Он ловит волны. Он все воспринимает, звуки музыки, жужжанье вентилятора, игру света и тени; и его собственное тело, погруженное во мрак, кажется ему частью призрачного предметного мира. Он чужд всему этому миру, и он его часть. Он различает огромное множество деталей, в свою очередь вызывающих воспоминания еще о чем-то, порождающих бесчисленные ассоциации. Но сам он оцепенел, оцепенел посреди невероятного сложного мира. С исключительной силой в поэме передано характерное состояние современного человека, подавленного колоссальным количеством информации, но благодаря внутренней неподвижности сохраняющего ядро своей личности.

ЧТОБЫ справиться со своей задачей, ему нужен весь инструментальный язык: весь язык. Любимая мысль, ей посвящена его Нобелевская лекция: поэт есть орудие или "средство существования" языка. (Реминисценция Шиллера: die Sprache dichtet.) Но эта мысль справедлива, лишь дополненная противоположным тезисом: поэт укрощает язык. Бродский вырос в России XX века: в люмпенизированной России лагерей и неслыханного унижения речи. Эту униженную и унижившуюся речь он попытался реабилитировать.

Время от времени этот патриций надевает засаленное тряпье и отправляется

спокойно уживаются чуть ли не все диалекты русской поэзии, медь и мрамор восемнадцатого века, манерная изощренность, элегантная вульгарность двадцатого.

ВООБЩЕ ЖЕ говоря, с ним надо держать ухо востро. Подлинный климат его поэзии, то, что заставляло по-живаться читателей, что вызвало протесты, смущало, сбивало с толку, — это ирония. Самое циничное общество не могло не быть одновременно и самым ханжеским; по сей день ирония в нашем отечестве традиционно воспринимается как подкол. Ирония припахивает безнравственностью, антипатриотизмом и безбожием; ирония превращает "все самое высокое" в то, чем оно чаще всего и является: в кич; ирония — это диверсия и саботаж. "Над кем смеетесь?"

А между тем никто и не думал зубоскалить! Ирония, meine Herren, на свой лад глубоко серьезная вещь.

Вне иронии нельзя представить себе литературу нашего века — прозу или поэзию. Запрет на прямую речь, невозможность пафоса, невозможность для пишущего принимать себя абсолютно всерьез (отчего и читателю кажется, что над ним посмеиваются). Горечь тех, кто имел несчастье быть молодым в этом гнусном столетии. Что это: проклятье или благословение?

(В одной из опубликованных бесед Бродский называет иронию "свидетельством интеллектуальной трезвости".)

Ирония, искусственность, отсутствие провинциальной наивности делают Бродского чуть ли не единственным в своем поколении европейским поэтом. Хотя бы речь шла и об "Азии".

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах, в избах, банях, лабазах — в бревенчатых теремах, чьи копычье стекла держат простор в узде, укрывайся тулупом и норови везде лечь головою в угол, ибо в углу трудней взмахнуть — притом в темноте — топором над ней, отяжелевшей от давеча выпитого, и аккуратно зарубить тебя насмерть.

Вписывай круг в квадрат. Всегда выбирай избу, где во дворе висят пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под пятьдесят. Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе, чтоб приписать за твой счет что-то себе; то же самое — баба. Прячь деньги в воротнике шубы; а если ты странствуешь налегке — в брючине ниже колена, но в сапог: найдут. В Азии сапоги — первое, что крадут. Вы прекрасно понимаете, о какой стране идет речь; все — абсолютная правда. Нищета, подозрительность и тоталь-

ная несвобода. Повсюду тебя подстерегает предательство. Со всех сторон окружает недоброе жулье. "Путешествующий по Азии", будь начеку! Тебе дают добрый совет люди, знающие что почем.

Речь идет о лагерном образе мыслей — общенародном мировоззрении, о принципе лагерного существования, пропитавшем всю жизнь, в зоне или на воле, все равно. Вместе с тем сугубая серьезность, какое-то унылое мужество, менторская интонация, идиотическая обстоятельность ("в брючине ниже колена, но не в сапог"), педантизм и самодовольство стреляного воробья создают неуловимый печально-юмористический эффект.

Никто никогда ничего не знает наверняка. Глядя в широкую, плотную спину проводника, думай, что смотришь в будущее, и держись от него по возможности на расстоянии. Жизнь, в сущности, есть расстояние — между сегодня и завтра, иначе — будущим. И убыстрять свои шаги стоит, только ежели кто гонится по тропе сади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

Ирония, как сказано, есть инструмент освоения мира, есть нечто конструктивное — и больше того. Ирония есть особая религия нашего века. Не будь спасительной иронии, вপুর бы удавиться.

Ирония помогла поэту выжить, вновь обрести достоинство, самостояние, свободу, без которой он не может выполнить свою миссию. Бродский возвращает искусству вечно искомую суверенность. Он в самом деле никому не служит, ни черту, ни дьяволу. Ни родине, ни женщине, ни народу, ни политике, ни церкви. "Ты царь — живи один".

Смешно называть его эмигрантским поэтом, и все же он запечатлел нашу дилемму — или Россия, или свобода, — наш выбор, нашу жизнь на чужбине культур.

Это завет одиночества: Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу!

СТРУКТУРЫ порабощения в скрытой форме присутствуют в самом языке; язык изначально "идеологичен". Художник чувствует эту ловушку, и его творчество — это единоборство с языком. Литература — повторим старую мысль Р. Барта — единственное, может быть, средство ускользнуть от властных полизношений языка, "спасительное плутовство", единственное спасение от того, чтобы пойти у него на поводу.

В осознании этого есть некоторое новшество — новшество в том, что мы начали это хорошо понимать. Быть может, это одно из немногих подлинных завоеваний уходающего века. Все идеологии обладают общим свойством — каменной серьезностью. Литература, поэзия сопротивляется ей натиску идеологии, противопоставляя ей игру и иронию.

Изнанная с порога, идеология лезет в окно. Идеология зарывается, как в окоп, в почву родного языка. Идеология грохит гальцем художнику, напоминая ему, что он должен быть гражданином, патриотом, демократом, ортодоксом, католиком, православным. Парадокс в том, что, защищая свое достоинство, искусство защищает человека. Не странно ли, что тысячу раз осмеянная башня слововой кости — в этом веке есть способ отстоять безнадежное дело: человеческое достоинство.

ВСЕ-ТАКИ — какая поразительная самонадеянность! В Нобелевской лекции говорится: "... Будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом — то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей... сколько качеством стихотворения, на нем снимаемого... Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существо-

вание этих языков в течение следующего тысячелетия".

Всё, что творил, творил не ради я славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности.

Какая вера в литературу, в поэзию в эпоху, когда стихов никто не читает, когда о поэтах в лучшем случае лишь говорят; когда мы все выданы с головой журналистам, которые сами не читают книг — некогда, да и слишком сложно, — но от которых зависит, услышит ли о нас кто-нибудь в массовом обществе, где словесность капитулирует перед агрессивным натиском конкурента, какого она не знала за тысячелетия своего существования: телевидения.

Экран готов установить протекторат и над литературой; но современная литература требует слишком много усилий, да и места мало. Надо освободить место для испражнений спортивного комментатора.

БРОДСКИЙ умер пятидесяти пяти лет; для русского поэта — почтенный возраст. Если бы вовремя не вышибли за границу, все было бы нормально, был бы умерщвлен молодым.

Внешность Бродского менялась, как его поэзия. В последние десятилетия он стал похож на дюреровского Иоанна: тип иудейского интеллектуала.

"Сохрани мою речь навсегда..." — шептал Мандельштам.

Сохрани на холодные времена эти слова, на времена тревоги!

Накануне смерти Бродский написал свой Памятник — стихотворение под заголовком, отсылающим к Горацио, ода III, 30: "Aere perennius". (И размер тот же: 1-я аклепиадова строфа.)

Монумент, воздвигнутый поэтом, именуется "твердой вешью".

Приключилось на твердую вещь напасть: будто лишних дней циферблат пасть отрыгнула назад, до бровей сыта, крупным будущим чтобы считать до ста. И вокруг твердой вещи чужие ей встали коллом, базаря: "Ржавей живей" и "Даешь песок, чтобы в гроб хромать, если ты из кости или камня, мать". Отвечала вещь, на слова скупя: "Не замай меня, лишней дню толпа! Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь — не рукой под черную юбку лезть. А тот камень-кость, гвоздь моей красы — он скучает по вас с мезозоя, песь: от него в виде борода длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней".

Скала, из которой высечен памятник, долговечней бронзы: это порода, отложившаяся в доисторические времена. Псы будущего, "лишние дни", готовые изгрызть ее в песок, ничего не смогут с ней поделаться. Мощь поэзии, которой приходилось работать со свинцом и кровельным железом, вечность поэзии — старше "вечной жизни с кадиллом в ней".

"Теперь меня там нет..."

АТЛАС исторической географии Бродского: Петербург, Америка, библейская Палестина (поэма "Исаак и Авраам"), Италия ("То, откуда все пошло"), императорский Рим. О "римских мотивах", о пристрастии к античным метрам, вероятно, уже пишется диссертация.

К этому можно добавить, что с Бродским в русскую поэзию пришла Александрия. Мы находим у него обские черты античного и новейшего ("постмодернистского") александринизма, как их сформулировал Г. Гокке ("Европейский дневник четырех столетий", 1978): культурная отягощенность, мифологическое оснащение, изощренно-дерзкое соединение архаики с авангардным жестом, обостренное чувство формы, любовь к темнотам, склонность интеллектуализировать жизненные проблемы.

Генеалогия Бродского. На ум, естественно, приходят имена Мандельштама, Ахматовой, Обэриу? Марина Цветаева? Уистен Оден? Европейский нигилизм? Все это, однако, недавние предшественники; между тем как род Бродского старше. Он связан кровными узами с древнейшими русскими и европейскими поэтическими фамилиями.

Генеалогия: попытается представить себе щит с гербом Бродского. Он будет, подобно гербам угасающих монархических родов, весьма сложным, склеенным из гербов ассоциированных княжеств и коронных земель. А в середине — геральдическое сердце, соеет: белый щит с загадочным знаком. Герб висит над большим пустым домом.



Единственный портрет

ДВАДЦАТЬ с лишним лет назад Миша Хейфец написал статью "Иосиф Бродский и наше поколение". Рукопись ту у Миши изъяли, оценив ее в четыре года лагерей и два ссылки, и сейчас ее можно прочесть разве что в архиве КГБ — или как эта контора себя теперь называет, — но Миша говорит, что писал о стихах Бродского, как о ноже, "которым целое поколение перерезало пуповину, связывающую его с идеологией, в которой нас вынуждали".

Для моего поколения Иосиф Бродский был уже чем-то иным, паролем, ориентиром, одной из аксиом нашего мироздания, другими словами — частью нашего пейзажа (ибо для нас, ленинградцев, наш город и был непрерываемым мерилом всего: достоинства, вкуса, культуры и красоты). И когда мы толпились у здания суда на улице Восстания, а потом около какого-то клуба на Фонтанке, наверное, мы думали даже не о нем, а о себе, о своей собственной картине мира — как если бы кто-то покусился разрушить Адмиралтейство или Исаакиевский собор.

Мне рассказывали, как плакали наши друзья в Ленинграде, узнав о Нобелевской премии; и я помню этот день, мне по-

звонил приятель — ленинградец — из Бостона, он услышал новость раньше меня, я тоже плакал. Я не думаю, что это была радость за Бродского. Я думаю — за себя: они, мир снаружи подтвердил, что наша система ценностей верна. Наша вера стала их знанием, ради которого чеканят медали и издают книги с золотым обрезом.

ВЕРОЯТНО, это глупо, но каждый раз, когда я снимаю кого-то, мне хочется сделать не просто портрет, но Портрет. Не просто показать этого человека сегодня, но и вчера, и завтра. Сделать единственный портрет. Так сказать, на все времена. Звучит самонадеянно и смешно, но такова правда.

Иосифа Бродского я снимал много раз, но такого портрета мне сделать никогда не удалось. Есть фотографии, которые я очень люблю, фотографии, которые показывают характер Иосифа (во всяком случае, характер таким, как я его понимал), есть серии фотографий, которые работают вместе. Но среди этой тысячи, или чуть больше, кадров нет того одного.

Когда-то мне казалось, что такой один есть. В том портрете я находил нечто большее, чем привычный жест, — мне виделась в нем судорога рождения слова.

В моем представлении это был уже не Иосиф Бродский, а Поэт. Иосиф читал "Большую элегию Джону Донну". Год 1968-й. Я снимал его тогда в первый раз, и он был для меня — Поэт.

Через несколько дней я подарил эту фотографию Иосифу. Он глянул на нее коротким быстрым взглядом и сказал: "Какой смешной человек". И тут же переворнул ее картинкой вниз. А назавтра мне рассказал приятель, что, выйдя, Иосиф перешел через дорогу и утопил эту фотографию в Фонтанке.

Видимо, для поэта здесь было много "смешного человека", так полагал Иосиф.

Для меня же, повторю, это был Поэт.

Я никогда не думал об этом, но сегодня, раскладывая на столе разные свои фотографии, я понимаю, что чем дальше, тем больше и больше я пытался снимать человека, "смешного человека". Не поэта-человека, но человека-поэта. В той старой фотографии (негатив которой, как и рукопись Мишиной статьи, сожрало КГБ), наверное, мне не хватало человека: сердитого, доброго, нежного, хитрого, раздраженного, резкого, погрязшего в себя. И я ловил эти моменты, узнавал в них Иосифа Бродского (Иосифа, каким я его видел) и рвался к каждому шансу дополнить свой мозаичный портрет еще одним стихом. Но все же, глядя на Иосифа через видеокамеру своей камеры, я не переставал надеяться увидеть, поймав тот единственный портрет человека-поэта.

Этого не случилось. Единственной осталась та старая фотография шестидесяти восьмью года.

Михаил ЛЕМХИН

ЗАГАНЬКОЗЕ фирма "ВОСКРЕСЕНИЕ" изготовит: ПАМЯТНИКИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ и ФОРМ; МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ; ЦВЕТНИКИ и ЦОКОЛИ из ГРАНИТА и МРАМОРА; КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ; СРОКИ МИНИМАЛЬНЫЕ; 256-5140, 253-4373; ст.м. "Ул.1905 года"